



ГЕННАДИЙ ДОРОНИН

# ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ БУРАТИНО



**ДОМ ПЕЧАТИ**

Павлодар

2006

**Жизнь и смерть Буратино**  
Павлодар: ТОО «Дом печати», 2006. – 328 стр.

**ISBN 9965-775-55-X**

**Автор: Геннадий Доронин**

# ВРЕМЕНН(Ы)ОЙ РОМАН

Пустое занятие объяснять написанное. Но мне — сам не знаю почему — кажется, что если я предварю свои нынешние рассказы небольшой историей, то она не очень им навредит.

Жил-был на свете крестьянин, страстный любитель чтения. И дед его, и отец, и братья — так уж получилось по жизни — тоже любили книги. Жили они в изобильном и привольном селе, которое называлось Большая Глушица; и сейчас так называется. В селе было два церковных прихода — большой, значит, населенный пункт. И грамотеев, книгоцеев тоже было немало.

Хорошая книга — в кожаном переплете, отпечатанная на мелованной бумаге, с гравюрами — всегда стоила недешево, поэтому простой люд книгами обзаводился, если обзаводился, как и прочим добром, — не на день, не на год — на века. И в этом нет превеличения. Книги передавались от деда к сыну, от сына к внуку. По сей день в крестьянских домах можно увидеть издания прошлого века и даже позапрошлого.

Покупали книги, конечно, не часто, тщательно выбирая, прицениваясь. Но за жизнь скапливалось полсундука, да прибавь отцовских два десятка томов да дедовских дюжину — вот целое богатство.

Человек, о котором я рассказываю, а звали его Григорий Черников, очень любил свои книги. Я не знаю, что можно сравнить с этой любовью, потому что все эти «как собственных детей» и «как будто сам их написал» — недостаточно выразительны для нее. Нисколько не покривлю душой, если скажу, что не было в его жизни большего наслаждения, чем перебирать свои сокровища, листать слегка пожелтевшие от времени страницы. Да и было что перебирать, если и сегодня остатки этой крестьянской коллекции могли бы украсить любую библиотеку: «История искусств» Вермона, «Всеобщая история» Йегера, «Новый энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона, «Жизнь двенадцати цезарей» Светония, «Святое Евангелие» издания Санкт-Петербургской синодальной типографии 1914 года, прижизненное издание Надсона, двухтомная «Русская хрестоматия», изданная в 1879 году.

После революции доставать книги стало проще. Большевики принялись очищать библиотеки от «буржуазных, идейно невыдержанных изданий», а, кроме того, многих голод заставил тащить книги на рынок — так что они почти ничего не стоили. Их продавали вязанками, как дрова.

Григорий не упускал ни одной возможности раздобыть новую книгу — покупал, выменивал, спасал от крыс в брошенных домах, выпрашивал у красноармейцев, собирающихся пустить на самокрутки то пушкинскую «Гавриилиаду», изданную в 1918 году, — впервые на родине поэта без сокращений и пропусков; то книжки Леонида Андреева, которых почему-то было особенно много, может, бумага на них шла особая, курительная, а может, всегда в страшные годы просыпается тяга к мистике, к запредельному?..

В общем, собралась у Григория приличная библиотека. К тому времени он переехал в Уральск. В тридцатые годы многие, спасаясь от жуткого голода, перебирались из сел в города. Жилось Григорию тяжело, но он не боялся самой трудной, самой грязной работы. А каждую свободную минуту читал... Прослыл чудачком, да он и был им. В него влюбилась хорошенькая продавщица самого большого в городе книжного магазина, а он этого даже не заметил.

Ну а потом грянула война. Григория призвали, и он честно воевал, палил по немецким танкам из противотанкового ружья, был ранен, награжден медалями и орденами. После войны, уже зрелым человеком, поступил на исторический факультет местного пединститута. Надо сказать, что тяга к истории у него была необычная. Он знал всех королей, императоров, их родословные, он помнил огромное количество дат, он хотел своего первенца назвать Махендрой в честь короля Непала.

И, наверно, стал бы он замечательным учителем истории, а может и ученым, но тут как на грех случились «самые демократические» выборы — то ли в местные Советы, то ли куда выше. Расклеили повсюду портреты кандидатов, их трудовые биографии — конечно же, по одному претенденту на депутатское место. Все как на подбор «верные сыны и дочери», все вышли из пролетарских и крестьянских семей.

Как-то после лекций шел Григорий с приятелем по институтскому коридору и увидел, как педагогические активисты старательно сдирают со стены портрет одного из кандидатов. Содрал портрет, они тут же на его место приклеили другой, тоже «верного сына, пролетарской закваски».

— Тот-то, прежний, сволочь, врагом народа оказался! — пояснил приятель.

У Григория был один недостаток, по тем временам очень большой, — он любил порассуждать. Впрочем, это и теперь у нас не считается достоинством.

— Ну и дела! — сказал Григорий. — Вчера был друг народа, а сегодня враг. А может, и этот, которого нынче приклеивают, завтра шпионом окажется? Откуда нам знать, что он идейно закаленный? Как думаешь?

Приятель благоразумно промолчал.

А ночью Григория арестовали. А вместе с ним и его библиотеку. Серым молодцам из госбезопасности пришлось покряхтеть, затаскивая в «черный воронок» тяжелый сундук с книгами.

— Грамотный ты, вражина! — приговаривал потом следователь, взвешивая на руке полупудовые фолианты.

— Буржуйское старье хранишь!...

«За опошление мероприятий Советской власти!» — так было сказано в приговоре — Григорий получил десять лет лагерей и пять «по рогам» — поражения в правах — и поехал на «стройки коммунизма», прошел через тюрьмы, лагеря. Вышел на свободу после смерти Сталина и оказался у разбитого корыта — ни женой не успел обзавестись, ни детьми, а на счетчике жизни уже пятый десяток. Но мужик он был крепкий, засучил рукава, стал вкалывать, вскоре женился, пошли дети. Но до самой смерти не мог он забыть своей библиотеки, а чудом уцелевшие книги держал далеко от постороннего взгляда. Иногда на улице или в автобусе встречал давнего своего институтского приятеля, тот справлялся о здоровье, вздыхал о жизни. Григорий никогда не говорил ему, что знает, кто был автором доноса, — не потому что простил, а потому что знал: вернуть ничего нельзя.

В пятидесятых прошли невнятные, почти нечленораздельные реабилитации, похожие на заметание следов. Григорию, недоучке, предложили место преподавателя истории в одном из профессиональных училищ, но он наотрез отказался, оставшись простым сантехником в областной больнице.

Предпринимались попытки вернуть ему отобранные боевые награды, соблазняли его ветеранскими пайками и льготами — он ни разу не польстился на большевистскую наживку. До конца жизни аббревиатуру СССР он произносил только так: сы-сы-сыры. Нет, он не напрягся в позе обиженного, он просто держался подальше от власти, умеющей арестовывать не только людей, но и книги.

Он умер в мае 1985 года в самом начале горбачевской перестройки.

А несколько лет назад мне случилось быть, в числе прочих гостей, в одном хлебосольном доме. Вкусно ели, вволю пили, задушевно распевал магнитофон. На журнальном столике, рядом с хрустальной пепельницей и диковинной зажигалкой, лежал объемистый том в светло-коричневом кожаном переплете, с золотым тиснением на корешке. Я открыл книгу и замер: в сиреневых узорах незатейливого экслибриса четко читалось: «Большая Глушица. Черников».

Наверное, нет ничего удивительного в том, что книга меняет хозяев, переживает их надолго, но я до того изумился, что спокойный, улыбочивый хозяин дома принужден был пуститься в объяснения. Оказывается, книгу эту — полистать, знаете ли, интересно — он взял у одного друга, а у того старинных книг целый шкаф. И что примечательно — все они в отличном состоянии, будто их не в прошлом веке отпечатали, а только что. Отец у этого друга работал раньше не то в НКВД, не то в МГБ и был страстным книголюбом.

— Почему «был», — спросил я. — Он уже умер?

— Нет, здравствует, но теперь по-настоящему хорошие книги достать невозможно...

Вот так, значит, библиотека Григория Черникова жива. Из этих книг набираются ума-разума чекистские дети и внуки. И ничего не говорит им фамилия, оттиснутая на фронтисписе. Да и зачем им знать, что нечто общее бывает у мучителей с их жертвами.

Вот и вся история, вполне ординарная. Но именно она — не могу объяснить почему — побудила меня написать несколько рассказов, которые я предлагаю теперь читателям. Сочиняя их, я не имел в виду только то, что все временно. Я наоборот надеялся, что все бесконечно. Но даже если я ошибался — нет причин горевать. Все пройдет.

## БЕСКОНЕЧНАЯ ОХОТА

Телефон начал звонить часов в шесть, еще не светало. Иванов догадался, что это Слон, но трубку снял, чтобы настойчивый аноним не разбудил Марию.

— Але, говорит Слон, — представился он, как и вчера.

— А может Носорог? — осторожно поинтересовался Иванов.

Слон добродушно рассмеялся и спросил:

— Ты Кнута читал?

— Какого Кнута? — растерялся Иванов.

— Темнота! Гамсуна читал? Конечно, нет, легкий спортивный ум не позволил. Так вот, Кнут любил рогоносцев расписывать, похожих на тебя,

— Интересно, не помню, — пробормотал Иванов.

— Может и не Кнут, а Эрих Мария, — легко согласился аноним. — Жалко, что ты не писатель, матерьяла о лопухах мог бы много собрать. Интересный бы получился роман.

— Да, — слушал Иванов.

— Ты хоть знаешь, кому твоя Машка дает?..

Иванов знал, но сказал:

— Не знаю.

Слон опять хохотнул:

— Вот уж действительно аксиома: мужья узнают последними!

— А ты, наверное, в обществе «Знание» работаешь? — спросил Иванов. — Хоботом по чужим постелям рыскаешь?..

— Как грубо! — огорчился аноним. — Ведь по сути дела я твой неузнанный друг. Помогаю бороться с спороками. Ты хоть морду набьешь ей?..

Иванов промолчал.

— Ну вот, опять информация даром пропадет, — продолжил Слон. — Или не пропадет, а? Все-таки примешь меры?.. Не забудь и о том, что я вчера говорил, — это тоже чистая правда.

А вчера Слон рассказал, что в канцелярии спортуправления уже подготовлен приказ об его, Иванова, увольнении. «На кой черт нам этот тренер по бегу! Нам не бегуны нужны, а боксеры! — будто бы сказал начальник управления Заяц. И добавил с усмешкой, обидно:

— Не удирать мы собираемся, как Иванов всю жизнь удирает, а нападать и побеждать!..»

— Ты на этого Зайца в суд подай, — предложил Слон. — Закон на твоей стороне... Разве ты один виноват, что твои дармоеды последними прибегают? Не везет тебе и все тут! С женой не везет, с работой...

— Да, — сказал Иванов и положил трубку. Телефон тотчас зазвонил опять.

— Ну почему тебя никто не любит? — спросил Слон. — Не пойму, честное слово. Даже жалко... Как человеку жить, если он никому не нужен? Бедняга!.. А Заяц этот — просто гад! Подложил дерьмо прямо в твою тарелку.

— Не разберусь никак в вашем зверинце, — сказал Иванов. — Зайцы, слоны... А козлов у вас нет? Вонючих?

— Есть. Все мы козлы, — ответил Слон. — Ну, пока, я завтра еще позвоню. У меня много чего интересного припасено для тебя.

И пошли короткие гудки.

Иванов закрыл глаза, в такую рань он должен еще спать, досматривать сладкий утренний сон. Хорошо бы увидеть двенадцатое апреля шестьдесят первого года.. Или... или в крайнем случае — второе августа семьдесят седьмого года, когда он со Светкой развеялся, свободы глотнул.

Иванов изо всех сил зажмурился, но знал, что это брехня: сто лет не снились ему никакие человеческие сны и не приснятся. А будут лезть только какие-то черно-белые лохмотья, ошметки, кляксы... Может, на самом деле и не было вовсе двенадцатого апреля, может он и со Светкой не развеялся? Вдруг вся его жизнь никуда не уходила, не утекала с года-

ми, и все эти бабы, начальники, соседи, товарищи по работе навсегда столпились вокруг него? Неужели воздух застыл, часы стоят, календарь пожелтел?

Он открыл глаза, рассвело.

— Кто звонил? — крикнула из спальни Мария.

— С работы! — ответил он, поднялся, вытащил из-под дивана гантели. «Раз, два, три, четыре! Раз, два...»

— А чего? — опять крикнула она.

— Зачет на стометровке!.. Раз, два, три...

— А...

— Слушай, Мария, мне денег немного нужно, — подошел он к двери спальни.

— Не заходи, не заходи! — закричала она. — Я еще не оделась!..

Она стеснялась его. Это началось месяца полтора назад, когда он сказал ей: «У меня такое странное чувство, будто около самого темечка пробиваются рога. Тяжело быть оленем...»

Он думал, она станет врать, выкручиваться, — ему было бы легче, но она ответила без затей:

— Ну было, было! Что я, святая?..

— Нет, не святая.

Она взорвалась:

— Ты сам-то, сам-то! Забыл, как соревнования в Бузулуке проводил? А Ирку, мотыгу свою, помнишь?..

Он помнил и предложил развестись: «По сути нас ничего не удерживает вместе, детей нет...»

Она наотрез отказалась, слезы потекли по щекам:

— Как у тебя язык поворачивается сказать такое?! Столько лет прожили вместе!..

— Искусь-то кто? — не удержался от вопроса Иванов. — Небось, Джакомо Казанова?

— Очень остроумно! — всхлипнула она. — Если разобратъся, так ради тебя, дурака, старалась.

— Ну! — восхитился он. — И сильно старалась?

Она повалилась на диван и долго содрогалась в рыданиях. Потом поднялась, умылась и спокойно рассказала, что роман у нее, даже не роман, а так — разок-другой случилось, с Михаилом Ивановичем, начальником отдела капитального стро-

ительства. Она его, в общем-то, презирает, но, сколько можно жить вот в этой халупе, сколько? Денег на новую квартиру никогда не накопишь, а Михаил Иванович обещал похлопотать, чтоб от производства выделили трехкомнатную...

— Заработок хороший! — одобрил Иванов. — Поздравляю, ты теперь почти номенклатура. Перешла в разряд высокооплачиваемых!

— Пошел ты! — сказала она, и они стали жить поврозь в одной квартире. В общем, ничего нового. И она стала его стесняться. Надо, конечно, разъехаться, но куда?

— Так ты дашь мне денег? — повторил он.

— Да, — она появилась из спальни, закутанная в халат, и протянула скомканные купюры. — Ты поздно вернешься?

— Ага.

— Ко мне Светка с девчонками после работы зайдут... Это означало, что ему нечего соваться сюда раньше восьми.

— Понял...

— Ничего ты не понял, дурак!..

Он сунул в карман деньги, снял с вешалки куртку:

— Я пошел...

— погоди, Иванов.

Он остановился в дверях.

— Ну, скажи, скажи хоть слово человеческое — я этого квартирному начальнику в момент под зад коленкой налажу!.. Чего уж ты такой непримиримый?! Я же люблю тебя по-своему...

— Я примиримый, — сказал он, — По-своему...

— Сволочь! — она закрыла за ним дверь, и он пошел по улицам — заглядывать в витрины, мокнуть под дождем, покупать в холодном киоске водянистое пиво, потому что не было сегодня никаких зачетов на стометровке и потому, что он знал больше Слона: приказ на увольнение тренера по бегу Иванова не только подготовлен в канцелярии спорткомитета, но и подписан уже. Так что досуга него хоть отбавляй.

Он привычно пошел к автобусной остановке, примкнул к суровой невыспавшейся толпе, послушал проклятия в адрес общественного транспорта, сам прибавил пару проклятий и только тогда вспомнил, что сегодня ему автобус ни к чему.

«Может водки выпить? — предложил он сам себе. — Или не пить?» Ничего не решив, он двинулся в сторону торгового центра, но, не пройдя и квартала, остановился: «А может, в кино?» Тут же на глаза попала афиша. «Кажется, все кинотеатры на свете называются «Мир», — подумал он. — Этот тоже... И везде по утрам мультфильмы...»

В кассе он попросил взрослый билет. Кассирша враждебно посмотрела на него из амбразуры, выговорила:

— Все билеты одинаковы! Будете брать?

Он взял и вошел в фойе. Кроме него мультфильмов ждали нарумяненная старуха в красном сверкающем плаще, оборванный темный мужик с выцветшим рюкзаком за плечами и клетчатая девушка: в клетчатом пальто, таком же шарфе, с клетчатым, кажется, лицом. Иванов подошел к ней и сказал:

— Не густо детишек, а?

Она пошла в зал. Он за ней. Уселся в жесткое, какое-то костистое, кресло в первом ряду, покрутил головой: клетчатая устроилась неподалеку. Он помахал ей рукой, она превратилась в дерево, сука. На экране заяц принялся привычно измываться над волком. «Ну что за искусство у нас! — огорчился Иванов. — Даже мультфильмы и те жизненные, сплошной реализм. Тоже мне сказочка!»

Он встал, хлопнуло сиденье, зашипела нарумяненная старуха.

— Мужик! — крикнул он негромко в темноту, разрезанную кинолучем. — У тебя в рюкзаке бормотуха?

— Не, — ответил мужик с последнего ряда, — тройняшка. Будешь?..

Спотыкаясь о кресла, чертыхаясь, Иванов добрался до последнего ряда. По экрану скакали зверушки, пищали недоразвитыми голосами.

— За свою долю плати! — потребовал мужик, от него мощно пахло парикмахерской и выгребной ямой. Иванов сунул ему в руку деньги, спросил:

— Стакан-то есть?

— Ага, — ответил он, — у меня ресторан походный. Отбивную тебе сделать? Он протянул Иванову увесистый бутылек. В полумраке одеколон плеснулся ядовитой зеленью.

— Полбутылки — и не грамма больше! — предупредил он.

Иванов отвинтил пластмассовую крышку и, глядя на экран, где дураковатый волк бессмысленно гонялся за несгибаемым зайцем, глотнул из бутылка. Глотку обожгло, но он честно допил до половины.

— На вот, закуси! — протянул ему мужик что-то почти невесомое. Иванов принялся жевать, но тут же поперхнулся, сплюнул закуску на пол.

— Что это?

— Табак, — равнодушно ответил мужик, — я всю жизнь им закусываю. Окурков собираю, просушу — и курить годится, и жевать. Отрыжка от него хорошая, любое дерьмо перебивает...

— Точно! — сказал Иванов и поинтересовался:

— Давно бичуешь?..

Мужик выпил, пожевал табак, смачно сплюнул:

— Недавно...

— Извини, — проникновенно сказал Иванов. Парфюмерный огонь разжег в его сердце костер любви к бичам, алкашам, всем милым отверженным людям.

— Извини, — повторил он, — все мы виноваты перед такими, как ты, перед тобой лично!..

Слова теснились в его истерзанной любовью груди. Ему жалко было мужика, жалко себя и всю свою беговую секцию, в которой не выращено ни одного чемпиона... А теперь уж и не будет выращено, сбичуется вся секция.

— Еще будешь? — мужик извлек из рюкзака второй флакон.

— Буду! — не размышлял Иванов.

— Деньги вперед!..

Он отдал оставшиеся купюры, приложился к флакону. Одеколон пролился прямо в душу, душа превратилась в благоуханный сад.

— Уважаю тебя! Уважаю всех вас! — не было слов, способных хотя бы приблизительно передать его чувства.

— Ладно, не горячись, — успокоил его мужик. — Быстро тебя пробирает, с бодуна что ли?

— Нет, я тренер по бегу, не пью...

— Молодец, а я доцент кафедры высоких напряжений...

— Как же так? — чуть не протрезвел Иванов. — Врешь?

— Соврать можно и покруче, — засмеялся доцент. — У нас один любил секретарем парткома представляться, и все верили...

— И что же такого? — отстраненно спросил Иванов, не успевший смириться с превращением бича в простого доцента.

— Ничего, конечно... У каждого могут быть странные фантазии. Только погиб он, может, Бог наказал...

— Во время путча убило?

— Нет, высоким напряжением и убило.

— Все равно не могу понять, — не отставал Иванов, — зачем этот рюкзачок, рваная куртка, тройной одеколон?.. Эта вонь?..

— Хобби у меня такое. У меня призвание — быть бродягой, а я всю жизнь высоким напряжением заряжен.

— Дурак ты! — сказал Иванов и стал пробираться к выходу из-за зала.

— Я по ночам спать не могу; тянет меня куда-то, — жалобно сказал ему вслед доцент. — Разве это понять нельзя?..

Иванов не ответил, запутавшись в тяжелых портьерах, прикрывающих выход из зала.

— Постойте, товарищ! — позвал его чистый женский голос. Он обернулся: по проходу между рядами шла к нему клетчатая.

— Мне нужно поговорить с вами, — сказала она, взяла его за руку и вывела из дебрей портьер под холодный сентябрьский дождь. Ему бы протрезветь, но маленькая и теплая рука, загадочные клетчатые глаза, высокая грудь, взволнованно вздымающая тонкую ткань пальто, вскружили ему голову. Он пошел с клетчатой по сырой будничной улице, чувствуя, как тонкий аромат французских духов смешивается с запахом тройняшки и жеваного табака.

Она завела его в какой-то заброшенный, заросший сквер, усадила на скамью рядом с собой, заглянула в глаза.

— Я слышала ваш разговор в кино, — сказала она. — Вы так громко беседовали...

«Ужас, ужас, ужас!» — почему-то мелькнуло в голове Иванова.

— Скажите, вам не кажется, что все вокруг нас — ненастоящее? — продолжила она. — Доцент — это не доцент, вместо водки вы пьете одеколон?.. Может, притворство все-таки должно кончиться? Посмотрите на меня: я прикидываюсь фотомodelью, красавицей, на самом деле — простушка, проще некуда, посудомойкой работаю. С хлеба на воду перебиваюсь, у меня ни одних целых колготок нет!..

Иванов присмотрелся к ней: действительно, некрасива, ногти на руках обкусаны, неопределенного цвета волосы растрепаны, в глазах вторник, каблуки стоптаны, туфли грязны.

— Но я умна, — не унималась клетчатая, — проникательна. Я разгадала все и сумею всем раскрыть глаза!..

— Может не надо? — скромно вставил слово Иванов.

— Надо! — закричала посудомойка. — Вы знаете, где мы с вами находимся? Где?

— Наверное, в каком-то саду, — не очень уверенно ответил Иванов.

— Очнитесь! — еще надбавила она. — Какой сад?! Это кладбище!.. Неужели не видите разрушенных надгробий, поваленных крестов, разверзшихся могил? Не видите?

— Вижу! — ответил он, и ледяной холод пробрал его до костей. Опавшие листья и в самом деле едва скрывали могильные плиты старого кладбища, замаскированного под гордской сквер.

— А вот эта симпатичная статушка что изображает? — показала она рукой на гипсового пионера, трубящего в гипсовый горн.

Иванов не ответил, потому что ясно различал на постаменте кривые волосатые ноги и сбитые, нечистые копыта.

Клетчатая перекрестилась, замолчала.

— Я, наверное, пойду, — сказал Иванов, и снова прокрутилось у него в голове: «Ужас, ужас!..»

— Да, — сказала она. — Будьте осторожны, кругом капканы.

Словно подтверждая ее слова, кто-то дико заорал в дальнем углу сквера-кладбища, наверное, как раз угодил в капкан:

— Клавка! Кла-а-а-вка, падла! Хэлп! Хэлп!..

Иванов вжал голову в плечи и пошел прочь, загребая ногами желтые, коричневые, совсем почти зеленые листья.

— А люди, люди идут — приглядитесь к ним! — крикнула ему вслед клетчатая, не удержалась.

Он надвинул кепку на глаза, чтобы не приглядываться, и прибавил шаг.

Идти было некуда. Дождь усилился. В минуту промокли башмаки, стала тяжелой куртка. Он зашел на какую-то выставку — не то живописи, не то фотографии, не разберешь. Все стены выставки были увешаны худыми голыми бабами без голов. Несколько худых баб, пока одетых и с головами, бродило вдоль стен и говорило мудреные слова: «... теория нового искусства, ньюарта, это понятно... уместно самосканирование, катарсис чувств...» С ними вместе бродил мужик, обрамленный рыжей шкиперской бородой. Он тоже говорил:

— ... Творчество, так сказать... Это ж надо понимать, художественное постижение мира может быть адекватно...

Мужик подошел к Иванову, протянул руку. Удивленный Иванов пожал ее, сказал:

— Привет!

— Извини, приятель, я вижу, ты человек сторонний, — начал бородатый, — твой взгляд на эти вещи непредвзят. Как единственный беспристрастный зритель, ты должен выложить все, что думаешь об экспозиции!..

Всё худые окружили Иванова, смотрели ему в рот.

— Я тренер по бегу, — сказал он. — Бывший...

— Вот и прекрасно! — закричал мужик.

— Чудесно! — подхватили худые. Иванов растерялся. Ужас, ужас, ужас!

— Уж очень костлявые они у вас, — показал он рукой на голых.

— Вот! — воздел руки фотограф. — А вас не смущает, что они без голов?

— Нет, чего смущаться?..

— Что я вам говорил! — повернулся бородатый к одетым. — Условное органично сплетается с реальным. Реципиент даже не обратил внимания на отсутствие, казалось бы, ключевой детали портрета. Точное копирование вредит ис-

кусству. Вообще среды обитания образа идеального объекта антагонистичны, хотя в моем понимании и образ обладает вполне самостоятельным сознанием для того, чтобы не усугублять противоречий нашего абсурдного мира...

— Понял! — сказал Иванов. — Я и есть тот образ с самостоятельным сознанием.

Одетые вежливо засмеялись.

— Вы — человек, это надо понимать, — сухо сказал фотограф.

— В самом деле? Звучит ободряюще, — сказал Иванов и вышел под дождь, сторонний человек.

Пройдя квартал, он наткнулся на доску объявлений под деревянным навесом. Здесь скучились осенние люди, скрывающиеся от холодных струй. Под стеклами желтела только одна бумаженция: «Куплю породистую собаку». Зато рядом на заборе мокли бесчисленные предложения: «Продается дача, итальянские сапоги и оверлок». «Кто такой этот оверлок? — подумал Иванов. — Старый, честный, безответный трудяга — ты тоже никому не нужен...» «Даю уроки английского языка», «Вывожу из запоев, восстанавливаю потенцию», «Продам право первой ночи, дорого. Спросить Наташу». «Как много всего у людей, — размышлял Иванов, — но спрос на все невелик... Почему? Мне не нужно право первой ночи, потому что мне страшно даже днем, да и денег нет. Я не хочу бегло болтать по-английски, потому что мне не с кем болтать даже на родном языке. Я не хочу выходить из запоя, потому что быть трезвым под этим дождем просто нелепо. А как же быть с верным товарищем — оверлоком, ведь жизнь без него пуста?»

Дождь усилился, и Иванов зашел в телефонную будку, как в Ноев ковчег. Набрал номер и немного послушал гудки, потом тонкий девичий голос сказал:

Я у телефона...

— Простите за беспокойство, — вдруг заволновался Иванов. — Оверлок дома?

— В общем, да... — затуманился голос.

— Нельзя ли его пригласить к телефону? На одну минутку?

— Пригласить?.. Сейчас. Папа, это, кажется, тебя...

— Але, але, кто это? — произнесла трубка густым баритоном.

— Оверлок? — ужаснулся Иванов.

— Говорите, что вам нужно?..

— В общем, ничего... Вас хотят продать, вы знаете? Оверлок долго молчал, наконец, ответил:

— И не в первый раз...

Иванов нажал на рычаг, набрал другой номер! Трубка тотчас отозвалась:

— Гаврилова слушает!

— Это вам нужна собака?

— Мне.

— Обязательно с хорошей родословной?

— Что вы предлагаете?

— Есть пес, не очень породистый, но зато неприхотливый и покладистый. Одна слабость у него — пьет тройной одеколон.

— Возраст какой? — заинтересовалась Гаврилова.

— Зрелый...

— Почему же он одеколон пьет?

— Пристрасвился. Так сложилось. Жизнь не удалась...

— Господи, у кого она удалась! — сказала Гаврилова. —

Я нынешним летом собиралась в Париж, но так и не собралась. Ужас, правда?

Ужас, ужас, ужас...

А я в Сочи был семь лет назад, а в Крым не попал. Берете пса?

— Где вы находитесь, я сейчас подъеду?

— У вашего объявления...

Он повесил трубку, вышел из будки. Дождь шел впере-  
мешку с опавшими листьями.

«А вдруг бородатый фотограф ошибся? — подумал он. — Может я все-таки не человек? Мне здесь ничего не нравится, а люди вот идут, смеются, жрут мороженое под дождем. Может я марсианин?»

Взвизгнули тормоза, и у обочины остановилась яркая красная машина, как утренняя нарумяненная старуха в кино. За рулем сидела Гаврилова, неудачница. В глазах ее дремала тоска по Монмартру, Елисейским полям, свободным французским нравам. Да и просто тоска тоже.

Она выбралась из машины, статная, в кожаной юбке, кожаной куртке, с разлитыми по кожаным плечам ржавыми волосами, с кожаным ошейником в руках;

— Кто тут пес? — спросила она.

— Я! — признался Иванов с замиранием сердца. Она внимательно посмотрела на него, улыбнулась:

— Кормежку обещаю хорошую, но вольностей никаких! В машину!

Иванов уселся на сиденье рядом с Гавриловой, и машина понеслась по неглубоким лужам. Грязные брызги заливали ветровое стекло, и щетки протирали на нем только два нешироких просвета. Бойницы. Автомобильный приемник силился объяснить неуклонно верную политику правительства, а Иванов смотрел только на черные нейлоновые колени Гавриловой. Взгляда не мог отвести. Ему хотелось уткнуться в них и скулить. Хорошо было бы уехать в далекую теплую конуру и пропасть в ней навсегда.

— Подними голову, Пес! — сказала Гаврилова. — Того и гляди, зальешь меня слезами.

— Я спокоен, — ответил он.

— Отлично. Без родословной — это не значит безродный... Все равно кому-то родной. Не плачь... Пес лизнул ей руку, попросил:

— Останови машину.

Она затормозила, и он опять оказался под дождем.

— Извини, — сказал он. — Мне кажется, ты меня приручаешь...

— Ты сам не знаешь, чего тебе нужно! — рассердилась она.

— Не знаю... Но может быть мне лучше и не знать?

— Ну и дурак! — вздохнула она. — Ты мне сразу понравился, мне всегда дураки нравятся... Пока! Шагай в свою холодную будку.

— Почему ты думаешь, что холодную?

— Это ты так думаешь! — она нажала на газ, и красная машина укатила ее, наверное, в Париж.

Все было кончено. Смеркалось. Он добрался до дома, открыл дверь своим ключом и, не снимая куртки, отсыревших

башмаков, надвинутой на глаза кепки, пошел в комнату, где пел телевизор. На кухне Мария врасос целовала какого-то мужика. Увидев Иванова, округлила глаза, слабо махнула рукой: не мешай, ради тебя стараюсь! В комнате на диване сидела раскрасневшаяся Светка, подле нее косою милиционер с расстегнутой ширинкой.

— Здравствуйте! — сказал Иванов.

— Привет! — ответила Светка. Милиционер что-то промычал.

Иванов пошел в спальню, открыл шифоньер и раскопал под узлами со старым бельем столетнюю одностволку. От нее пахло нафталином, мерещилось в ней что-то домашнее, уютное.

Иванов усмехнулся, добыл из-под белья и два патрона в картонных гильзах, переломил ружье, посмотрел сквозь ствол на свет: не проржавело, хорошая вещь. В случае чего можно продать, как оверлок.

Он зарядил ружье, взвел курок, сунул холодный ствол в рот, едва дотянулся до спускового крючка. Вспомнил, как сегодня на выставке фотограф назвал его человеком, и нажал на крючок. Конечно же, осечка. И тут с диким криком ворвалась в спальню Мария.

— Что ты делаешь! Сволочь!..

Она наотмашь ударила его по лицу, разбила нос. Ружье рухнуло на пол, нестреляющая кочерга. Капли крови упали на приклад. Мария достала платок, прижала к ивановскому носу.

— Иди, умойся!..

Он мотнул головой, отвернулся.

— Горе, горе! — заплакала она, обнимая его. — И отец из этого ружья стрелялся, и дед стрелялся!.. И никого оно не убило!.. А вы все целитесь в себя и целитесь... Что за суки такие!..

Она открыла шифоньер, кинула в него одностволку и села на пол у ног мужа.

Иванов, забыв обо всем, уставился в шифоньерное зеркало. Из серебряной глубины смотрел на него включенный, залитый кровью человек. Убитый.

## ДЕНЬ ЛЮБВИ

Что-то человеческое, жуткое есть в железных дорогах. Рельсы, сцепившись друг с другом шпалами, никогда не сходятся вместе, но и разойтись не могут — так и тянутся вместе через бесчисленные километры, вынужденные повторять друг за другом каждый поворот. Тоска. Но еще тошнее, что дороги не могут без кривых, залитых дождями, полустанков, без унылых пустынных деревень, без заплеванных, издерганных городов. Дороги так и норовят прилепиться к вокзалам, в которых напряженно сидят железнодорожные скитальцы, ожидающие сигнала тащить свои мешки и торбы в зеленые тряские вагоны и рассказывать осовелым пассажирам свои бесконечные жизни, набитые женами, болезнями и неблагодарными детьми.

Железные дороги — свалки слов. Исповедальными миазмами отравлен воздух, этот яд крепче спирта, от него не протрезвишься, он союзник железнодорожного ига — не надейся избавиться от него. Рельсы намагничены, притягивают души; кислый дух бродажничества сильнее любви, слаще водки — в вагонах таскаются по свету многодетные, бесконечно жующие семьи, гнилозубые холостяки, просветленные онанизмом, загадочные курящие женщины — желтые и грустные, как использованные горчичники, прыщавые солдаты, пьющие без закуски, некрупные начальники, соль земли нашей — все, все, все.

А кто сегодня не едет, тот под ватным одеялом, придавленный рыхлой ляжкой подруги, слушает далекие паровозные гудки и знает: завтра его очередь...

А машинисты паровозов, вглядываясь в несущееся навстречу двуединство рельсов, ненавидят кажущуюся бесконечность стального полотна, она представляется им хитрой тюрьмой, из которой ни им самим, ни локомотивам выхода нет.

В душе я был согласен с машинистами, в сущности любая железная дорога только соединяет два тупика; близки мне были и их размышления о безысходности, но вслух этого мне произнести не удавалось, для этого пришлось бы пересилить разговор о любви, да и вино бы выдохлось в пиалах, дребезжащих на пластиковом столике в купе.

— ...вот я и врезал этой бляди промеж глаз, а она хохочет — живучие они, как кошки, — вел рассказ заскорузлый какой-то мужик, с заскорузлым, как пятка, лицом, с ржавой бородой.

— Случай был, баба из самолета выпала, — перебил его другой, фиолетовый от бормотухи. — Высота — жуть, километров тридцать!..

— Не баба, а летчик выпал, — поправил его третий, мужик без всяких примет, — а у него парашют был, но он не раскрылся... За подвиг ему орден дали и сто тыщ...

— Так он уцелел? — спросил я.

— Само собой, для этого запасной парашют имелся...

— А самолет?

— Какой самолет?

— Из которого он выпал...

— Американцы его поймали специальной сеткой, секретный был самолет. Теперь не отдают, гады.

— Наши самолеты самые быстрые...

— А получка самая медленная, — сказал заскорузлый. — Ждешь ее, ждешь...

— Зато быстро кончается, — добавил мужик без примет.

— За эту скорость надо выпить, — предложил я.

Мы выпили, и я стал размышлять, как попал я на этот поезд. Может быть, кто-то командировал меня в далекий город? Но кому я нужен?

— Слушай, земляк! — обратился я к фиолетовому. — Как называется потеря памяти?

— С утра? — уточнил он.

— С позапрошлого года, — сказал я.

— Амнезия...

А может, я был пьян? Наверное... Скорее всего, но кто платил за питье? В моих карманах уже давно не было ничего похожего на деньги.

— Поезд на юг идет? — спросил я у компании.

Мужики взгляделись в меня получше и заскорузлый ответил:

— Ага, а мы перелетные птицы... Ты что, трахнутый?..

— Не знаю, — признался я, — а Тамбов уже проехали?..

— Ты в окно посмотри, дурик, — тихо сказал фиолетовый, — какой тут тебе Тамбов?..

Я прилепился лбом к грязному стеклу: под мелким нудным дождем мокла желтая холодная равнина, и поезд, казалось, катался по кругу, как по цирковой арене, и ничего не менялось за окном — то буксовал у самых рельсов в вязкой желтой глине обшарпанный грузовик, то проплывало мимо понурое степное дерево — и опять буксовал грузовик.

— Да, непохоже на Тамбов, — сказал я. — Говно какое-то вокруг...

— А что, в Тамбове говна нет?..

— Не знаю, не был там...

— Везде одинаково, — сказал заскорузлый и добавил, ткнув мне в плечо:

— Ты куда едешь-то?..

— Я?..

— Ты... Про себя я знаю...

Врать не хотелось на пьяную голову, и я сказал:

— Не знаю...

— Во, точно! И я не знаю... Корешок один сшиб меня с понта, да уж давно сшиб, и я все катаюсь... И в Солехарде жил, и в Кзыл-Орде, в Тюмени пять лет ишачил, в Чимкенте с одной дурой три года маялся... Болтаюсь, как дерьмо в проруби, везде у меня родина...

— Верно сказано, братан! — перебил его фиолетовый — Вот дадут завтра мне коленом под зад в моем Бешкеке — куда подамся? У нас, у русских, где родина — в Москве что ли? В Питере? — не похоже там на родину... Ты как думаешь?

— Я?.. Я — не русский, — ответил я.

— Хохол что ли?..

— Нет. У меня нет национальности.

— Так не бывает...

Я промолчал. За окном проплыл еще один буксующий в глине грузовик, в кузове сутулилась баба в зеленом про-

мокшем плаще. Сколько таких грузовиков вдоль железной дороги? Сколько баб и мужиков закрываются от ветра и дождя брезентовыми плащами? Почему они не откажутся от этой собачей промозглой жизни, не уведут свои грузовики от этой глины, от этих ветров и дождей?

Может быть, выведена такая порода людей — глиняная?

Теперь, наверное, и моя жизнь пересеклась как-то с жизнью этого поезда, этой желтизны — и ничего не поделаешь, и не причем здесь водка, командировка... Не уйти мне от этого поезда... Промелькнул заброшенный станционный домик с полустертými буквами по фасаду: «Полустанок Марии...»

— Ты кто по специальности будешь? — спросил меня фиолетовый мужик.

— Борец, — сказал я. — Борец невидимого фронта...

— Не похож ты на борца, — заметил заскорюзлый. — Больно уж облезлый. А какого ты стиля: классического или вольного?

— Я вольного стиля, но борец классический, — сказал я. — А насчет прочего — сам ты облезлый. У меня костюм, посмотри, немецкий. Шивиотовый... А ботинки — подошвы звенят!..

— Звенят, звенят, — не стал он спорить. — Только вот носков нет. Но это ерунда, давай еще выпьем.

Мы выпили, и фиолетовый залез на верхнюю полку, будто умер.

— Я тоже упаду, — сказал мужик без примет. — Клонит меня... А все-таки ты, борец, кого-нибудь победил?

— Ага, — ответил я, — самого себя... А остальных-то и по-давно разметаю!..

— Ты борец с дерьмом, — сказал мужик и захрапел.

— Точно! — сказал я. — А самое большое дерьмо — одиночество...

За окном проплывало еще одно дерево и виднелся вдалеке очередной барахтающийся в грязи грузовик с зеленой ссутулившейся фигурой в кузове.

Я привалился к стенке купе и зажмурил глаза, но равнина с грузовиками не исчезла, а дождь даже усилился, и, засыпая, я подумал, что непогода теперь надолго, а иначе и быть не может: откуда возьмется среди этой пустоты и не-